РОССИЙСКАЯ АКАДЕМИЯ НАУК
ИНСТИТУТ РУССКОГО ЯЗЫКА им. В. В. ВИНОГРАДОВА

АВАНЕСОВСКИЙ СБОРНИК

К 100-летию со дня рождения
члена-корреспондента АН СССР
Р. И. Аванесова

МОСКВА
«НАУКА»
2002

УДК 80/81
ББК 81
А 18

4
А-18
БИБЛИОТЕКА
ИН-ТА РУССКОГО ЯЗЫКА
ИН-ТА ЯЗЫКОЗНАНИЯ АН СССР
90683

Издание осуществлено при финансовой поддержке
Российского гуманитарного научного фонда (РГНФ)
проект № 02-04-16062д

Рецензенты
доктор филологических наук Г.К. ВЕНЕДИКТОВ
кандидат филологических наук Л.В. ВЯЛКИНА

Редколлегия:
доктор филологических наук Л.Э. КАЛНЫНЬ,
кандидат филологических наук О.Е. КАРМАКОВА,
доктор филологических наук Т.В. ПОПОВА,
доктор филологических наук Н.Н. ПШЕНИЧНОВА
(ответственный редактор),
доктор филологических наук И.С. УЛУХАНОВ

Аванесовский сборник: К 100-летию со дня рождения чл.-кор. Р.И. Аванесова / Отв. ред. Н.Н. Пшеничнова; Ин-т рус. яз. им. В.В. Виноградова РАН. – М.: Наука, 2002. – 413 с. – ISBN 5-02-006389-4 (в пер.).

В сборнике рассматриваются теоретические проблемы описательной и исторической диалектологии, лингвогеографии, лексикографии, лингвокультурологии, исследуются вопросы, относящиеся к изучению языковых особенностей как в синхронии, так и диахронии, обсуждаются проблемы орфографии и орфоэпии, транскрипции, этимологии.

Авторы развивают идеи Р.И. Аванесова, сформулированные им в разной степени – детально или как бы мимоходом, попутно, в результате чего сборник демонстрирует продуктивность аванесовских идей, актуальность их для современной не только русистики, но и лингвистики в целом.

В сборник включены две ранее не опубликованные работы Р.И. Аванесова, воспоминания о нем известных ученых.

Для языковедов широкого профиля.

По сети “Академкнига”

ISNB 5-02-006389-4

© Российская академия наук, 2002
© Издательство “Наука”
(оформление), 2002

В.Б. Силина

ПРОБЛЕМА ИДЕНТИФИКАЦИИ СТАРОСЛАВЯНИЗМОВ В РУССКОМ ЛИТЕРАТУРНОМ ЯЗЫКЕ

Имя Р.И. Аванесова вошло в лингвистическую науку прежде всего как имя крупнейшего русского диалектолога. Он создал мощную научную школу, важнейшим достижением которой было накопление огромного массива фактических данных о состоянии русского диалектного языка в 20 столетии.

Осмысление и научное обобщение этих данных представлено как в теоретических работах Р.И. Аванесова, так и в созданном под его руководством русском диалектологическом атласе. В то же время он глубоко осознавал важность представления развития русского языка в исторической перспективе как единого целого, органическими частями которого являются народная речь, воплощенная в многообразии диалектных разновидностей, и книжно-письменный язык, обработанный в процессе культурного развития народа и многовекового становления русской нации. Именно поэтому последние десятилетия творческой деятельности Р.И. Аванесова (50–70-е годы XX века) были посвящены осуществлению масштабного проекта создания Словаря древнерусского языка XI–XIV веков. В основу этого капитального научного предприятия были положены разработанные им принципы и методы накопления фактического материала и его лексикографической обработки. Основополагающими явились принципы определения круга источников Словаря и выбора содержащегося в них лексического материала. Р.И. Аванесов обосновал необходимость привлечения в качестве источников большого количества памятников книжно-литературного и делового характера (в том числе и переводных) и вместе с тем максимального количества известных науке памятников, отразивших др.-рус. народно-разговорный язык (берестяные грамоты, записи и приписки, граффити, надписи на предметах и т.п.). Главным же принципом новаторского характера, потребовавшим создания новой картотеки, явился принцип сплошной расписки памятников и учета каждого употребления слова, зафиксированного в источниках Словаря. Коллектив, созданный Р.И. Аванесовым и работавший под его руководством долгие годы, провел огромную работу по созданию словарной картотеки нового типа и составлению и изданию первых шести томов Словаря (тт. I–IV. М., 1988–1991; тт. V, VI. М., 2000–2001). При этом картотека Словаря (далее – КСДР) пополняется новыми данными из источников, открытых и опубликованных в последние годы.

Примечателен и еще один принцип, положенный Р.И. Аванесовым в основу лексикографической обработки древнерусских материалов, представленных в КСДР. Отсутствие жанрового разграничения в словарных материалах (другими словами – наличия каких-либо функциональных зон) и единый принцип разработки словарных статей основываются на положениях Р.И. Аванесова о том, что “древние русские книжные люди были носителями двух систем – книжно-письменной и народно-диалектной. Эти две системы, если угодно, представляли одну сложную систему, которая была едина в одних преобладающих своих звеньях и отличалась в других”. Эти отличия были

незначительны в фонологической системе, невелики "в области флексии и более значительны в области лексики, словообразования; синтаксиса" [Аванесов 1973, 9]. Эти положения в известной мере перекликаются с мыслью И.И. Срезневского о том, что "до тех пор, пока в языке народном сохранялись еще древние формы, язык книжный поддерживался с ним в равновесии, составлял с ним одно целое. Друг другу они служили взаимным дополнением" [Срезневский 1849; переизд. 1959, 66].

Концепция складывания древнерусского книжно-литературного языка как самобытного достояния древнерусской культуры, имевшего своими корнями праславянские грамматические формы и лексические пласты, развивавшиеся и преобразовывавшиеся в процессе функционирования древнерусского и шире – общеславянского культурного койне, и в то же время впитавшего мощные потоки византийско-болгарской христианской культуры, получает в начале XXI в. новые импульсы развития. Они связаны в большой мере с накоплением русской лингвистикой к концу XX в. огромного количества лексических материалов, содержащихся в многотомных лексикографических трудах. Наряду с изданием СДР XI–XIV в современной русской исторической и диалектной лексикографии осуществляется ряд таких капитальных проектов, как СлРЯ XI–XVII, СРНГ, ЭССЯ. Новые перспективы открываются и при изучении непрерывно пополняющегося массива древних берестяных грамот (как новгородских, так и найденных в других городах (см. [Зализняк 1995]).

Изучение и интерпретация фактического материала, содержащегося в СДР XI–XIV, а также в опубликованных томах указанных выше изданий, открывают новые возможности для исследований в области происхождения и развития русского литературного языка на всем протяжении его истории.

Одной из существенных проблем в сфере подобных исследований является определение статуса русского литературного языка на разных этапах его развития (в особенности – на древнерусском) по отношению к старославянскому, а затем к церковнославянскому языку. Из множества задач, требующих в данном случае решения, можно выделить задачу определения количества старославянизмов в лексическом составе древнерусского языка. При этом встает проблема идентификации старославянизмов, т.е. выявления принадлежности того или иного языкового элемента к старославянской или церковнославянской языковой стихии в русском литературном языке в противоположность слою собственно русскому, восходящему к праславянской древности.

Традиционно надежным критерием определения старославянизмов в русском литературном языке служит наличие внешних признаков, чуждых русскому языку (неполногласие, начальные *ра-, ла-, из, жд* < **tj, dj* и некот. др.). Однако, очевидно, что из старославянского, а затем из церковнославянского языка, появившегося и укрепившегося на древнерусской почве в качестве языка, выполнявшего прежде всего культовую функцию, а затем и культурно-общественную, в древнерусский язык проникло много слов и отдельных морфем, которые не имели фонетических и морфологических признаков старославянского языка. Об этом задумывался еще И.И. Срезневский: "Говоря: это слово – славянское, а это – русское, рискуешь принять за славянское то, что есть общеславянское, а не церковнославянское" [Срезневский 1871].

В этом случае историки русского языка пытаются опереться на данные русского диалектного языка.

В 1927 г. С.П. Обнорский писал: "Народный язык в известном круге фактов получает значение твердого критерия для определения рамок церковнославянских наслоений в самом нашем литературном языке". Сравнение данных языка литературного и "народного, сохранившего в значительной части свою чистоту и нетронутость со стороны церковнославянского влияния, по методу остатков позволяет заключить о церковнославянском происхождении отдельных фактов литературного языка" [Обнорский 1927, 79].

Действительно, кажется очевидным, что наличие в народных говорах тех или иных языковых явлений (в данном случае речь идет об отдельных лексемах или словообразовательных моделях) может служить подтверждением, хотя и не абсолютным, исконного, возможно, древнего и даже праславянского происхождения данного явления. Следует отметить, что при этом не имеет решающего значения отвлеченный или конкретный характер семантики слова или словообразовательной модели. В последние десятилетия XX в. все чаще подвергалось справедливой критике сложившееся в мировой науке об истории славянских литературных языков представление о том, что праславянские диалекты до приобщения к христианской культуре были замкнутыми структурами с ограниченными жанровыми возможностями, изобиловали названиями конкретных действий и предметов быта и были бедны обозначениями общих понятий и отвлеченных явлений. Критикуя высказывания А. Мейе в этом плане, С.Б. Бернштейн в 70-е годы писал о том, что праславянский язык в течение трех тысячелетий своего существования пережил длительную и сложную эволюцию и осуществлял такие функции, которые народные говоры поздних периодов никогда не выполняли. В эпоху перед принятием христианства славяне достигли сравнительно высокого уровня экономического и общественного развития, когда в усложнявшихся социальных условиях межплеменного общения и феодализации возникали новые языковые наддиалектные образования – культурные койне. Они по многим признакам отличались от языка земледельческого населения и в дальнейшем сыграли важную роль в создании славянских литературных языков [Бернштейн 1972, 37]. Можно думать, что эта роль состояла прежде всего в образовании некоторого фонда лексических и словообразовательных языковых средств для обозначения отвлеченных понятий, далеких от народно-бытовой сферы. В эпоху принятия христианства и создания общеславянского литературного языка, обслуживавшего первоначально культовые цели, а затем многообразные потребности славянской культурной среды, этот фонд мог быть использован не только для называния понятий, относящихся к новой христианской концептосфере, но и для обслуживания деловой, литературной и иных сфер общества. Арсенал этих средств, очевидно, был востребован и активно использовался славянскими первоучителями и их учениками.

Таким образом, наличие слова или словообразовательной модели в диалектном языке (современной или зафиксированной в XIX в.), а также отнесение этих образований к праславянскому языковому фонду, то есть признание этих языковых элементов общеславянскими, подкрепленное данными о наличии континуантов этого элемента в современных славянских языках, существенно уменьшает его шансы считаться простым заимствованием из старославянского языка в любом из славянских языков, в том числе и в русском. Иначе говоря, самобытно диалектный, общеславянский или, напротив, собственно старославян-

ский статус языкового явления может быть принят как один из критериев идентификации старославянизма в том или ином славянском литературном языке.

Подтверждением или опровержением данных относительно этого статуса, полученных путем применения указанного критерия, как представляется, может служить сравнение фактических материалов о функционировании изучаемого языкового элемента в канонических старославянских текстах, с одной стороны, и в древних источниках того или иного славянского языка – с другой. Применительно к истории русского литературного языка перед современными исследователями поставленной проблемы открыты богатейшие возможности. Продолжающееся издание таких фундаментальных исторических словарей, как СДР XI–XIV и СлРЯ XI–XVII вводит в научный оборот огромный фактический материал, зачастую совершенно новый. Исчерпывающие данные, в том числе и количественные, об употреблении слова в древнерусских источниках, полные сведения о его словообразовательной парадигме, возможность суждения о жанровой принадлежности слова, данные о его наличии в источниках, максимально отразивших древнюю народно-разговорную речь, могут позволить внести существенные коррективы в представления о положении тех или иных иных лексических или словообразовательных элементов в русском литературном языке на разных этапах его развития, а именно, о трактовке их как старославянизмов или исконно русских самобытных образований. Качество и количество материалов, содержащихся в СДР XI–XIV и его картотеке, дают возможность установить такие параметры, которые позволяют определить функционирование изучаемого элемента в древнерусском языке как активное, системно значимое или малоактивное, не вносящее существенных мазков в общую языковую картину. Широкая употребительность в различных сферах языка, разветвленность семантики, активная реализация словообразовательных потенций наблюдаемого языкового явления, продолжительность его существования и за пределами древнерусского периода в сравнении с ограниченным употреблением, малоразвитой семантикой и отсутствием словообразовательной парадигмы у старославянского эквивалента, как представляется, могут служить некоторыми доказательствами самобытности и исконно русского происхождения данного явления, то есть, другими словами, также стать критерием идентификации старославянизма по крайней мере в русском литературном языке.

Положения, приведенные выше и предложенные критерии, как кажется, дают основания для того, чтобы по-новому интерпретировать некоторые языковые факты, традиционно рассматриваемые многими историками русского литературного языка как старославянизмы (а впоследствии – церковнославянизмы), усвоенные древнерусским языком и в дальнейшем закрепившиеся в русском литературном языке и даже вошедшие в говоры через его посредство. Одним из таких языковых фактов является бытующая в русском литературном языке и в народных говорах словообразовательная модель отглагольных существительных с суффиксом *-знь*. Эта модель неоднократно толковалась в русской лингвистике как церковнославянская (см., например, [Виноградов 1927, 23; Обнорский 1927, 38]).

Обратимся в первую очередь к данным о происхождении указанной модели, ее функционировании в старославянском языке и распространенности в славянских языках. В старославянском языке словообразовательная модель девербативов на *-знь* представлена 10-ю образованиями: *болѣзнь, боязнь,*

жизнь, казнь, възнь, кызнь, каѩзнь, покаѩзнь, приѩзнь, неприѩзнь. А.С. Львов определял их как древнейшие образования от непроизводных глагольных основ, большинство из которых обозначают "состояние, привносимое для объекта или субъекта со стороны, проявляющееся помимо его воли" [Львов 1966, 107]. Перечисленные слова имеют разную степень употребительности и распространенности на различных славянских территориях. По данным ЭССЯ, практически во всех славянских языках отмечено слово *казнь*. (Ср. некоторые данные: ст.-болг. *казън* 'наказание', макед. *казна* 'наказание', серб.-хорв. *кâзн* 'наказание', ст.-чеш. *kázň* 'наказание, поучение', ст.-слвц. *kázň* 'приказание, проповедь, поучение', верхне-луж. *kazń* 'приказание, повеление', ст.-польск. *każń* 'приказание, наказание'), древнерусское *казнь* 'наказание, кара; бедствие, несчастье'. Авторы ЭССЯ считают это праславянское образование производным с суф. *-nъ* от глагола **kazati* 'приказывать, наставлять, принуждать' (точнее – от глагольной основы *kaz-* до тематического расширения *-a-ti*) [ЭССЯ, 9, 173]. Такая этимология дает возможность предположить, что суф. *-zn'ь* возник на праславянской почве путем перераспределения в пользу суффикса основы девербатива **kaznь* и стал использоваться при обозначении особых случаев состояния, вызванного волей высших сил, в частности, состояния творческой активности, способности к деятельности как высшего дара богов человеку. Такая трактовка древнего праславянского словообразовательного значения может быть согласована с архаической картиной мира, отразившейся в языке праславянских племен, которая была мифологизированной, пронизанной языческими представлениями о непосредственном участии высших сил в жизни людей. Специфичность и архаичность семантики, по-видимому, ограничила продуктивность данной модели и обусловила локальный характер распространения ряда ее реализаций на славянских территориях. Общеславянское бытование констатирует ЭССЯ еще только для слова *боѩзнь* 'страх, беспокойство, боязнь' [ЭССЯ, 2, 165]. По данным того же источника лексема *болѣнь* представлена только в южнославянских и восточнославянских языках [ЭССЯ, 2, 189–190].

Интересны разыскания А.С. Львова, который, исследуя употребление в старославянских памятниках слова *неприязнь* со значением 'нечистый дух, бес', пришел к выводу о том, что необычная для образований на *-знь* семантика nomina agentis обусловлена изолированным статусом данной лексемы. Она представляет собой собственно моравизм, являющийся калькой с герм. *Unhold*, и возникла как замена отсутствовавшего у мораван табуистического слова *лѫкавыи* [Львов 1966, 201].

Приведенные данные достаточно достоверно свидетельствуют о том, что суффикс *-знь* достался как старославянскому, так и древнерусскому языку в наследство от праславянского периода. Подтверждением подобного статуса словообразовательной модели в русском литературном языке может послужить исследование особенностей употребления отдельных образований по этой модели, наиболее активно функционировавших в древнерусском языке, и сравнение полученных результатов с соответствующими показаниями относительно старославянских эквивалентов, а также выявление данных о бытовании их континуантов в русских говорах. Другими словами, предложенные выше критерии для идентификации старославянизмов могут быть последовательно применены и к словообразовательной модели, и к отдельным образованиям, ее реализую-

щим. Такой подход сможет обеспечить большую достоверность итоговых заключений и выводов.

Обращение к древнерусским материалам, представленным в СДР XI–XIV, говорит о том, что на древнерусской почве бытовали и такие образования с данным суффиксом, которые малоизвестны и неизвестны совсем старославянскому языку. Это связанные отношениями чередования гласных слова *кузнь* и *кузнь*, древние именные образования от праславянского глагола **kujǫ/*kovati*. Вследствие ограниченного объема статьи остановимся лишь на функционировании в древнерусском языке слова *кузнь*, известного и старославянскому языку (в отличие от собственно древнерусского образования *кузнь*). В старославянском языке (по данным СтСл) слово *кузнь* в значении 'происки, козни, коварные замыслы' отмечено лишь в 5 употреблениях в Супрасльской рукописи и Рыльских листках, то есть в памятниках, не входивших в число первых переведенных с греческого языка канонических богослужебных книг. Производные от этого слова в старославянском языке полностью отсутствуют. Словарь древнерусского языка XI–XIV вв. демонстрирует широкую распространенность слова *кузнь*, представленного как в оригинальных, так и переводных древнерусских памятниках, в 148 употреблениях. Оно имело развитую семантическую структуру, для которой была характерна энантиосемия, то есть сочетание двух рядов значений положительного и отрицательного плана. Очевидно, наиболее архаическим, восходящим к значению этимологически восстанавливаемой производящей глагольной основы **kujǫ/*kovati*, связанной с эпохой освоения ремесленной обработки железа, следует признать значение 'умение, знание, ремесло'; ср. перевод этим словом греческих слов τέχνη, μηχανῆ в широко известном на Руси переводе Хроники Георгия Амартола: и забрала древѧна коѥмуждо звѣри кознью гораздою замышлена (διά μηχανῆς) *л. 130в*, ꙗзыци же дивлѧхусѧ волшьвеною кознью (μαγικῇ τέχνῃ) *л. 156г*. Слово *кузнь* употреблено древнерусским переводчиком данного памятника и тогда, когда речь идет об искусном сооружении: и створивъ мѣдѧну сѣть... развѣси ꙗ по сѣтемъ на козни высокыꙗ (ἐπὶ μηχανημάτων) *л. 91*. В древнерусских переводах с греческого слова *кузнь* выступает и с положительной семантикой как эквивалент выражения "благой замысел:" и ꙗко блга кознь ѥсть. ѥгда се кто на блго творить (Пандекты Никона Черногорца, список перевода 1296 г., л. 31 об.). В древнерусской оригинальной литературе слово *кузнь* встречается и в отрицательном значении 'козни, происки', аналогичном отмеченному в старославянском языке; ср. в сочинениях Кирилла Туровского, писателя XII в. (по списку XIV в.: поперѣмъ дьꙗвола и козни его *л. 73*). И в других древнерусских оригинальных произведениях слово *кузнь* встречается там, где говорится о происках и коварных ухищрениях дьявола; см. в Ярославском сборнике XIII в.: избави мѧ ги от вьсѧкыꙗ козни дьꙗволѧ *л. 201 об.* В дальнейшем рассматриваемая лексема закрепилась в русском литературном языке именно в указанном отрицательном значении, став pluralia tantum. Характерно, что в древнерусском языке слово *кузнь* послужило производящей основой для ряда образований (*кузнивыи, кузньникъ, кузньныи, кузньство, кузньствовати*), но ни одно из них не сохранилось. Представленные материалы с очевидностью служат доказательством самостоятельной жизни слова *кузнь* на древнерусской почве, начавшейся задолго до принятия христианства и прихода в Древнюю Русь старославянского языка. Однако дальнейшая судьба указанной лексемы была обусловлена наличием старославянского эквивалента,

послужившего как бы семантическим регулятором: употребление его в ограниченных по содержанию контекстах (о происках и ухищрениях нечистой силы) вызвало аналогичное употребление и в древнерусских сочинениях на сходную тему, что привело к ограничению сочетаемостных возможностей, а это, в свою очередь, обусловило сужение семантики и развитие отрицательной коннотации.

Другим объектом последовательного использования предложенных в настоящей работе критериев идентификации старославянизмов применительно к словообразовательной модели и ее лексическим репрезентантам является весьма значимое в концептуальном плане слово *жизнь*. Оно встречается и в канонических старославянских памятниках, и в древнерусской богословской и житийно-проповеднической литературе. В исследованиях по истории русского литературного языка это слово традиционно толковалось как старославянизм (см. об этом: [Виноградов 1927; Колесов 1975 и др.]). Однако детальное изучение новых фактов, поступивших в последнее время в научный оборот, позволяет обнаружить некоторые особенности функционирования слова *жизнь* и его производных на древнерусской почве, что дает возможность усомниться в справедливости подобной трактовки. При анализе бытования изучаемых лексем в различных сферах древнерусского языка очень важно убедиться в их наличии в памятниках, максимально отразивших народно-разговорный язык эпохи. В этой связи в первую очередь обращает на себя внимание такой богатый разнообразными материалами источник, как древние берестяные грамоты. Слово *жизнь*, как таковое, в них не отмечено, но корень его встречается в составе двуосновных собственных нехристианских имен Жизн҃обудъ (2 раза) – № 607/562 (посл. четв. XI в.), № 16 Ст. Русса (1-я пол. XII в.), Жизномир – № 109 (к. XI – 10-е г. XII в.) [Зализняк 1995, 223–229]. Кажется естественным, что для того чтобы стать основой имени собственного, причем языческого, то есть пришедшего из глубин народной жизни, слово *жизнь* должно было быть уже достаточно хорошо известным именно народу, а не только книжникам (речь идет только о конце XI – начале XII в., потому что позднее языческие имена были почти вытеснены христианскими).

Показательно также, что слово *жизнь* фиксируется по данным СДР XI–XIV вв. в древнерусских оригинальных памятниках XII–XIII вв. в значениях, не имеющих аналогов в старославянском.

В погодных записях от 1146 по 1169 г. в Галицкой летописи, дошедшей до нас в составе Ипатьевской летописи начала XV в., встречается 14 употреблений слова *жизнь* в значении 'достояние, имущество': кн҃же нашь [Полочане – Рогволоду] ...въстахомъ на тѧ. без вины. и жизнь твою всю разграбихомъ. и твоеи дружины *л. 177* (*1159*). Это значение, по-видимому, выступает и в "Слове о полку Игореве" (XII в.), хотя возможно и толкование 'существование': погыбашеть жизнь Даждь Божа внука, въ княжихъ крамолахъ вѣци человѣкомъ скратишась. л. 16–17. В 1307 г. в приписке к вкладываемой в монастырь св. Пантелеймона книге – Апостолу автор, перефразируя текст "Слова о полку Игореве", воспроизводит и сочетание 'погибала жизнь': Сего же лѣта бысть бои на Русьскои земли. Михаилъ съ Юрьемъ о княженье новгородьское. При сихъ князехъ сѣяшется и ростяше усобицами, гыняше жизнь наша, въ князехъ которы, и вѣци скоротишася человѣкомъ.

Наконец, еще одно употребление слова *жизнь*, зафиксированное в контексте из Ипатьевской летописи под 1259 г.: видивъ же се кн҃зь Данило ꙗко Б҃оу

поспѣвающоу мѣстоу томоу [о г. Холм] нача призывати. приходаѣ Нѣмцѣ и Роусь ...сѣдѣлници и лоучници... и бѣ *жизнь* и наполниша дворы ѡкре(с)тъ кра(д) [вм. града] поле села *л. 281 об.* Здесь выступает значение процесса, которое можно представить как значение состояния, непрерывной деятельности.

Привлечение этих доныне неизвестных или ранее неиспользованных данных, как кажется, укрепляет сомнения в том, что слово *жизнь* было в древнерусском языке заимствованием из старославянского и продолжило свое существование в русском литературном языке в этом качестве. Однако в силу своей неполноты они все же не являются безусловным подтверждением праславянского статуса данной лексемы и ее самостоятельного бытования на древнерусской почве с древнейших времен. Решение этого вопроса требует дальнейших разысканий, то есть применения других критериев идентификации старославянизмов.

Подобное исследование может быть проведено на материале русских народных говоров. В данном случае может сыграть решающую роль установление самобытно диалектного статуса исследуемой лексемы. Однако при обращении к говорам необходимо учесть значительное изменение фонетического и даже морфологического облика диалектов слов, оканчивавшихся на *-знь*, происшедшее после падения редуцированных. Потеря конечного гласного сделала такой конец слова труднопроизносимым. Действие тенденции к упрощению групп согласных в народном произношении привело к утрате конечного сонорного и к оглушению предшествовавшего ему звонкого: *жизнь* > *жись, болезнь* > *болесь* и т.п. По аналогии со словами типа *кость, пасть, шерсть* и т.п. появляются континуанты с новой морфемой в окончании: *жисть, болесть*. Говорам и русскому просторечью хорошо известен ряд пословиц и поговорок, фиксирующих такие преобразованные формы; ср. у Даля: Отвяжись, худая жись!, Эх, жисть-жистянка, В нашей волости лихие болести, Чужая болесть дасть поесть, а про свою беду и сказать не могу и т.п.

Характерно, что древний облик морфемы *-знь* сохранился в таких диалектных и просторечных производных, как *болезный, боязно, жизнёнок* и *жизнёночек* и т.п.

Другим путем освобождения от труднопроизносимой группы согласных было развитие сонорными слоговости и последующего превращения этих групп в сочетания со вставным гласным. И в говорах, и в русском просторечье встречаются образования, где присутствуют такие сочетания: *журавель, мысель, рубель* и наряду с этим *жизень, казень*. Наконец, русским говорам известен путь и морфологического преобразования: появление морфологического варианта с окончанием жен. р. *-'а*: *жизня, казня, болезня*.

Активность слова *жизнь* и его производных в русских говорах предоставляет некоторые дополнительные аргументы в пользу самобытности слова *жизнь* в русском языке.

В целом предложенные материалы, как представляется, достаточно убедительно свидетельствуют о том, что словообразовательная модель девербативов на *-знь* и такие репрезентанты образований, ее реализующих, как *кознь, жизнь*, а также *кузнь, болезнь* и некоторые другие, принадлежат к общеславянскому лексическому фонду, восходящему к глубокой древности.

Другими словами, они не имеют заимствованного характера, то есть не являются старославянизмами в русском литературном языке.

Этот вывод сделан на основе предложенных в настоящей работе критериев идентификации старославянизмов. В данном случае речь шла об истории русского языка, но кажется очевидным, что они имеют более общий характер и могут быть использованы в исследованиях по истории других славянских языков. Приблизительно их можно сформулировать следующим образом: старославянизмами могут считаться такие языковые элементы, которые, во-первых, по данным письменных источников функционируют в памятниках древнейшего периода, в основном, сходным образом со старославянскими аналогами, во-вторых, не представлены своими континуантами в диалектных системах изучаемого языка, в-третьих, не находят соответствий, как в синхронном, так и в диахронном плане, в системах других славянских языков (вероятно, за пределами болгаро-македонских и моравских областей, то есть территорий, на которых жили и действовали славянские первоучители). Конечно, эти критерии не могут считаться исчерпывающими. Но их можно представить как отправную точку для дальнейших исследований в области многообразных языковых структурных и семантических связей.

ЛИТЕРАТУРА

Аванесов Р.И. К вопросам периодизации русского языка // Славянское языкознание. VII Международный съезд славистов. Доклады советской делегации. М., 1973.

Бернштейн С.Б. К истории славянского суффикса *-tel 'ь* // Русское и славянское языкознание. М., 1972.

Виноградов В.В. К истории лексики русского литературного языка // Исследования по русской исторической лексикологии. М., 1987.

Зализняк А.А. Древненовгородский диалект. М., 1995.

Колесов В.В. Мир человека в слове древней Руси. Л., 1975.

Львов А.С. Очерки по лексике памятников старославянской письменности. М., 1966.

Обнорский С.П. Об изучении истории русского литературного языка // Русская речь. № 1. Новая серия. 1927.

Словарь древнерусского языка (XI–XIV вв. Т. 1–4). М.: Наука, 1988–1991.

Словарь русского языка XI–XVII вв. М.: Наука, 1975–1999.

Срезневский И.И. Мысли об истории русского языка. Переизд. М., 1959.

Срезневский И.И. Записка, прочитанная на I археологическом съезде в Москве // Труды I археолог. съезда. М., 1871. С. 84–86.

Словарь русских народных говоров. Вып. 1–33. М.; Л.: Наука, 1965–1999.

Старославянский словарь (по рукописям X–XI веков) / Под ред. Р.М. Цейтлин, Р. Вечерки и Э. Благовой. М., 1994.

Фасмер М. Этимологический словарь русского языка. Т. I–IV. Изд. 2-е. М., 1985–1987.

Этимологический словарь славянских языков. Вып. 1–28. М., 1974–2001.

В работе используются также сокращения, принятые в изданиях: Словарь древнерусского языка (XI–XIV вв.) в десяти томах (см.: т. I. М., 1988. Источники, с. 28–68, а также: т. VI. Дополнения и уточнения к списку источников Словаря древнерусского языка (XI–XIV вв.). М., 2000. С. 9–65). Словарь русского языка XI–XVII вв. Справочный выпуск. М., 2001.